

Сергей Тимофеевич Аксаков

Детские годы Багрова- внука (Главы)



*Часть сборника
Большая хрестоматия для
начальной школы (сборник)*



Сергей Тимофеевич Аксаков

Детские годы Багрова-внука (Главы)

(Хрестоматии для начальной школы)

«Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел...»

Содержание

Вступление	0005
Отрывочные воспоминания	0007
Последовательные воспоминания	0021
Багрово	0035
Пребывание в Багрове без отца и матери	0056
Первая весна в деревне	0083

Сергей Тимофеевич Аксаков

Детские годы Багрова-внука

(Главы)

Вступление

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всей яркостью красок, со всей живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали,

что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

Отрывочные воспоминания

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятих годов, предметы и образы, которые еще носят в моей памяти, – кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью, то в кроватке, то на руках матери, и горько плачущим: с рыданьем и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз явля-

ется в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мной. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывоч-

ных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне перевезли в подгорную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движе-

нием спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел побереечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! – Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинною узенькою шейкой. С тех пор я не видел таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно

похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после – ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от

пищи. Мне сказали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Иногда я лежал в забытии, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора – по несомненным медицинским признакам, а окружающие – по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых сказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но

восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николаевна, – не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, – перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что, покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может, для моего спасения, – и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла мои легкие своим дыханием – и я после глубокого вздоха начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я

даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кровати, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревьев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу.

Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться — и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал

немножко покрепче, и сообразая, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров; но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно; оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило ко мне в первое время моего выздоровления до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою

сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кровати и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показыванием картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроватью. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это

плачет, что, «верно, кому-нибудь больно», — мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого щеночка, который, весь дрожа и не твердо опираясь на своя кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платком. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана.

Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, – неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, пребываясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна; за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых

хлебов, – и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим изливанием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге, или сказал доктор – не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

Последовательные воспоминания

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. – Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались

аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища – маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но некрасив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским са-

дом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня полные напряженного внимания свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она собственно ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выхо-

дили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку, Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмурил глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и

несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей малень-

кой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде, тех книг, которые читывал иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за «Домашний лечебник Бухана», но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания

уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.

Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной Второй для рассмотрения существующих законов... Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже побаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал займы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то

от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастье!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтобы кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал ма-

тери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскивали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громах», что такое молния, воздух, облака; узнал

образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку — овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно, нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время

моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновала – общая энергия упала, и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услышал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренно, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка – какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать; но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и нетрудно при ее беспредельной нравственной власти над мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтобы посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтобы она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом, куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и, наконец, узнал, что дело уладилось: деньги дал тот же мой книжный благодетель, С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламени-

ли мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не бывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства – делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтобы играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с

радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую – читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, и, наконец, все было готово.

Багрово

Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам.

Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и так же повязанная платком, как наша нянька Агафья, тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости.

К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Ага-

фья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло не мало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотанье и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», – сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь, – продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, – на кого похож Сережа: когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети, чай, с дороги кушать хотят; покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными крен-

делями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что она сливок и жирного нам не даст и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, – говорила бабушка, – что твои дети едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почитительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы за-

нять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возражала, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, – и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю из какой материи, кажется кисейный, занавес; знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины – и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать... Оставшись одни в новом

своём гнезде, мы с сестрицей принялись болтать; я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне невесело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко; отцу же постлали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампы, теплившейся перед образом, что отец лежит на своём канапе, а мать сидит подле него и плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не помо-

жет»; а также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь; ты непременно завтра сляжешь в постель...» – слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими – встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, а потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать по усиленным просьбам отца согласилась лечь в постель. Она помолилась богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала: у ней разлилась желчь и была лихорадка; она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною... страх и тоска овладели

мною. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно, – и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную.

Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай, няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтоб я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло, и, чтобы не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за

мною. Предчувствие исполнилось ту же минуту: тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сереза, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой», и глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти! Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выразалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сереза! Дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками... Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спу-

стил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красны? Ты никак плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку?» – «Маменька больна», – сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужась как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа? – громко и весело сказал он. – Он весь в дядю, Григория Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа. Мать выздоровеет. Ведь это не смертное», – и начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбнулся, наконец сказал, как-то значи-

тельно посмотря на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, – не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, когда захочется плакать; поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услышав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты; отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава богу, – сказала мать, – я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его...» Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; но мать возразила, что этого не нужно, и попросила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и о сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне,

как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и не ласков. Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», – сказала мать как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что «клюквы у них много: им каждый год, по первому зимнему пути, по целому возу привозят ее из старого Багрова». Потом мать приказала привязать к ее голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за «Детское чтение», и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду между разросшимися старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал.

вал; я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка, – и мне очень захотелось туда.

Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой; мать позволила, приказав мне не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане, и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет, даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большую часть померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками; все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч. Вдобавок ко всему везде, где только бы-

ло местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли «копром», наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты... Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река, или речка, которая вдруг поворачивала налево и, таким образом, оставляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, – как прибежал Евсеич и позвал нас обедать; в это время, то есть часу в двенадцатом, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в третьем; но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестри-

цей посадить за стол прямо против себя; а как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел не много пониже. Я вспомнил, что, воротившись из сада, не был у матери, и стал проситься сходить к ней; но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал проситься и что я схожу после обеда; он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал, – и я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их, как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что первый день как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет!» Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить; но дедушка слышал мои слова и сказал: «Эге,

брат, какой ты неженка». Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала на постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почивать, и вот наконец мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратой денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь дело случайное, что она скоро пройдет и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться, но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: «Я умру с

тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровою. Все это я объяснил ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами; но для матери моей нетрудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить, и я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного: скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог слышать. Она заставляла меня долее обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем; даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время и как горячо полюбил я их впоследствии.

Через несколько дней мать встала с постели; ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно собираться

в Оренбург и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми; боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возражал, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что и нянька у нас не благонадежна и что уход за мною она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: «Ну что же, хорошо; Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами; она знала, что Аксинья не добрая. Дедушка с неудовольствием промолвил: «Ну, как хочешь; я ведь с своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и, в случае нездоровья, не лечить обыкновенными

их лекарствами: гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покоряясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Степановне, которая все-таки была добрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми.

Все это время, до отъезда матери, я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледною, худую и слабою, я желал только, чтоб она ехала поскорее к доктору; но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так

ласковы к нам, как мне хотелось, не любили, или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, – овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался: книжки, камешки, оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтобы она не ездила или взяла нас с собою; но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желание, чтоб она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней; но мать никогда не имела этого намерения и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом; это намерение ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его.

Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно

венно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощанье я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали; мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в иступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком: «Маменька, воротись!» Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу; Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа; он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу; она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он взошел на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, – дедушка сердито крикнул: «Перестать реветь. О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге». И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь. Много будет нам хлопот: дети очень избало-

ваны». Тетушка взяла меня за руку и повела меня в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька Агафья употребляли все усилия, чтоб успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеич пробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Деме, об уженье и рыбаках; но все было напрасно; только утомившись от слез и рыданья, я наконец, сам не знаю как, заснул.

Пребывание в Багрове без отца и матери

И с лишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери, в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода и гулянье наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь: как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу в восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке; с нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили, потом отсылали нас в нашу комнату; около двенадцати часов мы выходили в залу, обедать; хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешена ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках; иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую

называл козулькой; а иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил; бабушка и тетушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой; но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал; то же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, не весел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в шесть часов приносили нам чай; часов в восемь обыкновенно ужинали, и нас, точно так же, как к обеду, вводили в залу и сажали против дедушки; сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и видались с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здорованье и вечернем прощанье. Сначала заглядывали к нам под разными предлогами горничные девочки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас «поцеловать ручку», к чему мы

не были приучены и потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили; потом все совершенно нас оставили, и, кажется, по приказанию бабушки или тетушки, которая (я сам слышал) говорила, что «Софья Николаевна не любит, чтоб лакеи и девки разговаривали с ее детьми». Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила; но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно; оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и теткой; ее и любили за то гораздо больше, чем меня, особенно дедушка; он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому, что очень любил ее,

и, во-вторых, потому, что у меня не было расположения к дедушке и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должен сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки; я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами; я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо.

И так неприметно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать «Детское чтение», читал сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои

прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение; тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были ее куклы; самая любимая ее игра была в «гости»: мы садились по разным углам, я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами; тут было много разговоров и угощений, полное передразнивание больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка (то есть с двумя куклами, которых держал в руках); или что на меня напали разбойники и я всех их победил; наконец, что в Багровском саду есть пещера, в которой живет Змей-Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было

приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу и что мне иногда удавалось даже напугать ее; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то Змея-Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебивали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна; она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрицей очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила, все насмеялась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен: шумел, бранился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет, чего он очень боялся, и тотчас уходил от нас. Вторая

приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать; эта была предобрая, нас очень любила, очень ласкала, особенно без других; она даже привезла нам гостинца, изюма и чернослива, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал; она пожурела няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николаевне, в каком виде нашла детей; мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня: приказание есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время; эта тетушка была прегордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня; она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу

жизнь более приятною, но вышло совсем не так, и положение наше стало еще грустнее, по крайней мере мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами; их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем нам: я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виноваты: они чуждались нас; но, как их научали и как им приказывали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме *свои*; вся девичья и вся дворня их знала и любила, и им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню; Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть; и мне самому иногда хотелось, но у меня не доставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам

входить в какие-нибудь игры или разговоры с Багровской прислугой. Евсеич в продолжение этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень любил его. Я даже читывал ему иногда «Детское чтение». Однажды я прочел ему «Повесть о несчастной семье, жившей под снегом» {Детское чтение, часть 1я. (Прим. автора.)}. Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколик мой (так он звал меня всегда), все ли правда тут написано; а вот здесь, в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик Арефий Никитин поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал; поднялся буран, лошаденка была плохая, да и сам он был плох; показалось ему, что он не по той дороге едет, он и пошел отыскивать дорогу; снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке – так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно прозябла, и пошла шажком, да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали; увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старосте, подняли тревогу, и мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, зги не

видать! Поездили, поискали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина, ехал он с зверовой собакой; собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать; мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть; и видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет; вот и принялся он разгребать, и видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло; он знал про Арефья и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефий от стужи и снегу ровно проснулся; тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров,

только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева»{Замечательно, что этот несчастный Арефий, не замерзший в продолжение трех дней под снегом, в жестокие зимние морозы, – замерз лет через двадцать пять, в сентябре месяце, при самом легком морозе, последовавшем после сильного дождя! Он точно так же ездил в лес за дровами, в тот же общий колок, так же потерял лошадь, которая пришла домой, и так же, вероятно, бродил, отыскивая дорогу. Разумеется, он измок, иззяб и до того, как видно, выбился из сил, что, наконец, найдя дорогу, у самой околицы упал в маленький овражек и не имел сил вылезть из него. Осенняя ночь длинна, и потому неизвестно, когда он попал в овражек; но на другой день, часов в восемь утра, поехав на охоту, молодой Багров нашел его уже мертвым и совершенно окоченевшим. (Прим. автора.)}. Рассказ об Арефье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке че-

го-то просить. Арефья все называли дурачком; и в самом деле, он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было.

Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состояла из трех книг: из «Песенника», «Сонника» и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а Сонник и театральную пьеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в Соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких, самых пустых, известных в народе, оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров: «Ловить рыбу значит несчастье. Ехать на телеге означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство». Театральная пьеска имела двойное название; первого не помню, а вто-

рое было: «Драматическая пустельга». И точно, это была пустельга... но как она мне понравилась! Начиналась она так: пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом:

*Тига, тига, домой,
Тига, тига, за мной.*

Помню еще два стишка из другого куплета:

*Вот василек,
Милый цветок.*

Больше ничего не помню; знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом.

Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтоб я лучше мог разобрать; эта записочка доставила мне великую радость.

Тут примешивалась новость впечатления особого рода: в первый раз услышал я речь, обращенную ко мне из-за нескольких сот верст, и от кого же? – от матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писаного, хотя хорошо читал печатное.

Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и, наконец, такая жизнь начала сильно действовать на мой ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув «Детское чтение», я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню (я слышал о наказаниях такого рода) и что,

наконец, и мы с сестрой оба умрем. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ (так называли в доме моего отца и мать) начала долее оставаться с нами, — не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что, «верно, маменька больна или умирает»; а сестрица отвечала, что «ей жалко, когда братец плачет». Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день; но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ: «Вы нарочно так говорите». Тетушка с доса-

дою ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь, ты плакса, а глядя на тебя, и козулька плачет. Чтоб я не слышал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали, и точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушки я стал бояться еще более.

В подражание тетушкиным словам и Евсевич и нянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уже она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать...» Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще два дня; тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг: часто она просила меня поиграть с ней, или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или

читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами.

В один из таких скучных, тяжелых дней убежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут». Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался; впрочем, слава богу, что так случилось: если бы я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал; сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала, маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» – «Взаправду, взаправду, уж близко, – отвечала Феклуша, – Ефрем Евсеич побежал встречать», – и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих за руки и повела в лакейскую; двери были растворены настежь, в сенях уже стояла бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти; подъехала карета, в

окошке мелькнул образ моей матери – и с той минуты я ничего не помню... Я очнулся, или почувствовался, уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье!

Как только я совсем оправился и начал было спрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и пошла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться: испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтоб он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетя и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел, или, лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. «А, так ты так же и отца любишь, как мать, – весело сказал дедушка, а я думал, что ты только по ней соскучился. Ну,

Софья Николаевна, – продолжал он, – сынок твой плакса, на всех тоску нагнал, и козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся». Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на нее: когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала, тятенька приехал!», потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к бабушке, к отцу, к бабушке и к другим, даже вскарабкалась на колени к бабушке.

Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись, по обыкновению, отдыхать, и мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери, не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если б я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренно-

сти. Несколько раз мать прерывала мой рассказ; глаза ее блестели, бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова; но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокаивал словами: «Побереги себя ради бога, пожалей Сережу. Что он должен подумать?..» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть; но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешенную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор вполголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только вполовину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку и что мой отец за них заступается; из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся.

Я в свою очередь расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Деобольт не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее; что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала тосковать о детях, и доктор принужден был ее отпустить; что он дал ей лекарств на всю зиму, а весною приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальное Багрово как будто повеселело. Мне показалось даже, и, может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячеству моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове

дедушка точно полюбил меня, и полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня большим баловнем матери, матушкиным сынком, который отца совсем не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове «брезгует»; очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошел мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело и я сам стал к нему ласкаться – весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился: стал жив, даже резов, к дедушке стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину и сейчас попотчевал его чтением «Детского чтения»; и все это дедушка принимал благосклонно; угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгива-

ла на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала и потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени; на вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» она отвечала: «Захотелось братца поцеловать». Одним словом, у нас с дедушкой образовались такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати; видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается нами, генеральские дочери (как их называли), соскучась молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее.

Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи; мы к твоим детям и приступиться не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас поряд-

ки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бранила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень ее жаль, а в то же время она все говорила неправду: клялась и божилась, что от нас и денно и ночью не отходила и ссылалась на меня и на Евсеича. Я пробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала навзрыд. Я стал в тупик; мне приходило даже в голову: уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью; но Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую, ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит.

Начали поспешно собираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать, при дедушке и при всех, очень горячо ее бла-

годарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что, покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксицию Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь ты уже выговорила свое неудовольствие и матушке и сестре; зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки.

Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уже время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить. Невестыньке с детьми

было беспокойно жить; ну, да я пристрою ей особую горницу». Все прочие прощались не один раз; долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку.

Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили; у татар еще было лучше, потому что у них избы были белые, то есть с трубами, а в курных избах чуваш и мордвы кормежки были нестерпимы: мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи; надо было лежать на лавках, чтобы не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтобы мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом. У матери от дыму с непривычки заболели глаза и проболели це-

лый месяц; только в шестой день приехали
мы в Уфу.

Первая весна в деревне...

В середине Великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденет-

ся лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи... Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неизвестные струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья деревьев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челябинская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись прота-

лины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской: «пруд посинел и надулся, ездить по нему опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился

и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и равнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачевой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников... Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом ва-

лит, без перемежки!». Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, – одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходявшем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачевой роци. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие – низко, часто опускаясь на зем-

лю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! – говорил торопливо Евсеич. – Эки стаи! А кряковны-то! батюшки, видимо-невидимо!» – «А слышишь ли, – подхватывал мой отец, – ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то – я уже и не видывал таких стай!» Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило; только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется, мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет

неизъяснимое наслаждение!.. И все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда ворвался в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряквый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и

шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.

Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю – привык, в том смысле, что уже не приходил в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, и Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть ужение; каждого большого линя, язя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы

он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.

Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказам Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстраивало сон моей матери, которая хоро-

шо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас, грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве...» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек» {Эту сказку, которую слышал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстанавливая давно

прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груды обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно переводных, выражений с приемами, образами и народной нашей речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц, – показались мне стоящими вниманья. (*Примеч. молодого Багрова.*}). Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня.

На другой же день выслушал я в другой

раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровления, то есть до середины Страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея-Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал о вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В Страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием Светлое христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Алек-

сандра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале{Сандал – краска, извлекаемая из древесины различных деревьев при помощи спирта или эфира.}, в серпухе{Серпуха – желтая растительная краска для тканей.} и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого христова воскресенья, и она удивля-

лась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.

Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помещал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий

свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне, на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка

не хотела разгавливаться до получения петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.

Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговорились. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец; мать постничала одну Страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дво-

ровые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! Едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливания пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, – иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василия Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полями к летней кухне, которая соединя-

ласть высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роппуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой – направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась

и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать, а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабаривать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежда на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно было только различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили ни-

какого внимания, а может быть, и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят... Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуnenок исчез под водою... Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуnenок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было попасть на берег... но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать

матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсей же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что пьяные люди идут вброд по полям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастья и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала бабушкина Груша и сестрицыня нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через старицу, и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, – прибавила Параша, – на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».

Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя

я много читал и еще больше слышал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома, – но смерть мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине (о кораблекрушениях я много читал). На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуненка». Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговенья. Наконец накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуненка

и очень его любил. Обед прошел грустно, и как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого Болтуненка: «Нашел!» – заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом: все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, улеглось мое вос-

паленное воображение – я сладко заснул.

Погода переменялась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая поляя вода, подкрепленная дождями и так называемую земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и за-

стал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.

Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на берегах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда ползут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветков; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе пес-

нях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, красивые и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал.

А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как разворачиваются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показали сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят, и как коршуны кружились, плавали над ними... О, много было дела

и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» – говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уже гнезда. Он ходил со мной и в грачевую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки.

«Ну, Сережа, – сказал он мне, – теперь все птички начнут петь: варакушка первая запекает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»

Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи – и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силой в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова от-

ца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.

Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся, – сказала она мне, лаская и целуя меня в голову, – а ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало

всегда, моими чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяния, я жестоко обвинял себя, просил прощения у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я не достоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастью, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба истступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что

мало любил мать; она – что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком... В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами случилось?» – спросил он встревоженным голосом. Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось

впечатлениям природы; но я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало...

Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал — все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, язи, головли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принести по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две солнышко землю прогре-

ет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготавлию...»

Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теплая погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержатъ бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец собирается удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? – говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. – Кивацкй пруд пронесло, и его не скоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А

вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями – прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, – что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было затоплено и представля-

ло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить – и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде,

сам говорил, что не помнит себя в таком азарте! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще крупнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру». — «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в ста-

рые годы хаживали». – Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.

Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинье Степановне (Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку). Они неравнодушно приняли наш улов; они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна – удить; но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.

Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит удить, хотя очень любит уженье? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозва-

лась об этих охотах, особенно об уженье, называя его забавою людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забавою, приличною только детскому возрасту, и мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста: чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие: «Ты уже не маленький, ты все понимаешь; как ты об этом думаешь, дружкой?» – и тому подобные выражения, которыми мать, в порывах нежности, уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя, – эти слова возгордили меня, и я начинал свысока поглядывать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать уженья на пруду: отец сказал мне, что через два дня

его запрудят, или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков: они навязали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич двух.

Заимка пруда, или, лучше сказать, последствие заимки, потому что на пруд мать меня непустила, – также представило мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро заваливали вешняк и течение воды мало-помалу прекратилось – река ниже плотины совсем обмелела и, кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки, до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба слышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попа-

дая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб и мальчишек и девчонок, последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и языков из-под коряг и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки пресмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок.

Бугуруслан был хотя и не широк, но очень быстр, глубок и омутист; вода была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в кауз; на другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнею глубокою, многоводной рекой. Меня очень огор-

чало, что я не видел, как занимали займку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорчение. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, и получил в ответ, что «нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто на бранился; но что веселого крику и шуму было много... Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить.

Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей сильной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему са-

мому хотелось взять ружье; я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы, или кулиги, дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или чилизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверх; иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота, – и он показался мне еще прекраснее. Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверх! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здесь

воздух был сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчишки. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забывал окружающую меня красоту весеннего утра. Важ-

ность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.

Отец пошел на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, – я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день, от восхода до заката солнечного, бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, – и мне стало совестно, стыдно, и решил я просить отца и мать, чтоб меня заставили бороновать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она

смеялась, а я горячился; наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бороньба – не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать, – я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошастью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.

Именно в эту пору жития моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее, но это нисколько не значило, чтоб я стал меньше ее любить. Причиной этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной; и потом – мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала.

Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили; они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что «братец – все, а она – ничего»; но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры, и никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачали светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распорядилась бабушка или, лучше сказать, тетушка; мать заказывала только кушанья для себя и для нас; но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили (кроме Евсеича и Параши), хотя мать

никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать.

По просухе перебивали у нас в гостях все соседи, большею частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Мертваго; разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове: эта мысль постоянно смущала и огорчала меня.

Петр Иванович Чичагов, так же как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье и собаку и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один

раз и отец ходил с ним на охоту; они принесли полные ягдташи дичи. Петр Иваныч все подсмеивался над моим отцом, говоря, что «Алексей Степаныч большой экономом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички – так это его дело: тут мяса побольше». Отец мой отшучивался, признаваясь, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять – не привык и что Петр Иваныч, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дробин, которая на будущий год уродится... Петр Иваныч громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иваныч и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа, – так начинал он свой разговор, – как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? Что поделывает Карамзин с братией новых стихотворцев?» Это значило, чтоб

я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иваныч над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина{Державин Гаврила Романович (1743–1816) – выдающийся русский поэт.} и в то же время подшучивал над ним; одного только Дмитриева{Дмитриев Иван Иванович – баснописец и сатирик конца XVIII – начала XIX века.} хвалил, хотя не горячо, но безусловно; к сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтение, или декламация, как он называл, очень его забавляли. Единственные чтецы стихов, которых я слышал, были мои дяди Зубины. Александр Николаич особенно любил передразнивать московских трагических актеров – и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение! Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Иванычем Чичаговым. Этот необыкновенно

умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей.

Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю кем написанные, едва ли не Шатровым{Шатров Н. М. – третьестепенный поэт конца XVIII – начала XIX века.}. Первого куплета помню только половину:

.....
*Перлово-сизых облаков.
Иль дав толчок в Кавказ ногами
И вихро-бурными крылами,
Рассекши воздух, прилети;*

Хвостом сребро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.
Но вдруг картина пременялась,
Услышал стон я голубка;
У Лизы слезка покатилась
Из левого ее глазка.
Катилась по щеке, катилась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в стары веки
На слезы скупы человеки,
Но люди были ли тогда?
Когда... девушке случилось
В разлуке с милым другом быть,
То должно ей о нем, казалось,
Ручьями слезы горьки лить.
Но нынче слезы дорогие

.....

Сравнятся ль древние, простые
С алмазной нынешней слезой?

Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой, – сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, – ты меня так уте-

шил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах.

Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки лошков, пескарей и маленьких плотичек, по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану, до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора; далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день поутру или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в грачевую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле, там было очень хорошо: берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень; липовая аллея пересекала остров посередине; она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада; она служила дневным

убежищем для ночных бабочек, собиранием которых, через несколько лет, я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение; приносила иногда свой «Песенник», читала сама или заставляла меня читать, и как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братией, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова {Песня III. Она начинается так: // Не пастух в свирель играет, // Сидя при речных струях; // Не пастух овец сгоняет // На прекрасных сих лугах... // и проч. (Прим. автора.)}.

Мы так нахвалили матери моей прохладу тенистого острова в полдневной зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро,

что в ней множество насекомых, которые сейчас напоззут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но, я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду; стук толчеи, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным; сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев с час, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни; унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накальвала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что

такого-то года, месяца и числа «Софья Николаевна посетила остров».

Изредка ездил я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба: овсы, полбы и пшеницы; видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа одна из всех крестьянских полевых работ, которой я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому «Потанному колку», состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип, – колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум: то какой-то отрывистый и

мерный шорох, на мгновенье перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил: «Что это такое?» – «А вот увидишь!» – отвечал отец улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно; когда же мы обогнули его – чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху: расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точенья кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко и отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь» или «Бог на помощь!», громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» огласило поляну, отозвалось в овраге, – и сно-

ва крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами! В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах! Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава! медведь медведем!» {Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком, несжатом хлебе: как тут пришел медведь! Я думаю, что словом «медведь» выражалась сила, то есть плотность, высота и вообще добротность травы или хлеба. (Прим. автора.)} По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а

теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны.

Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, несло воркованье диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же милостивая, желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны... Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые

выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи, но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» – раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу; но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтоб рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит

рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке; а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, оно смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься.

Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верною моею подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки «Детского чтения». Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или

горихвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах; иногда, по неосторожности, мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что уже несколько дней птички в гнезде нет и что она не покривает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным, тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками... Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в

книгах, на что преимущественно употреблялись «Римская история Роллена» и «Домашний лечебник Бухана»; а чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками писчей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском (о фосфорическом блеске я знал также из «Детского чтения»), мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов; то же делали мы со всякими червяками, у которых было шестнадцать ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком: червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали, себя хвостиком к крышке или стенке ящика, а червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие, белые и прозрачные

ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя – и висела или лежала куколка: висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида; а лежала всегда темного цвета, настоящая крошечная, точно спеленатая куколка. Я знал, что из первых висячих хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых, лежачих, – ночные; но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна найденная мною где-то под застехой, вся золотистая куколка; из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка – но радость была необыкновенная!

Наконец поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых

и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бранилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезною для своего здоровья и употребляла как лекарство по несколько раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей из клубники приготавливали клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.

В летние знойные дни протягивали по всему двору, от кладовых амбаров до погребов и от конюшен до столярной, длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбереженья от моли разные платья, мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и проч. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вы-

шитыми, качающимися от ветра, висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти середи двора, перед ее окнами; ее девушка, толстая, белая и румяная Матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то что солнце пекло ей прямо в лицо; около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и т. п. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины, фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками; в одном углу лежал громадный пуховик, или, лучше сказать, мешок с пухом; в другом стояла новая большая кадушка, покрытая белым холстом; из любопытства я поднял холст и с удивлением

увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрену, которая ужасно испугалась, увидя меня выбегающим из амбара. «Что это, сударь, вы там делали? – сказала она с сердцем. – Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого и сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволение все хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтоб я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побезденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать; но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку, и лукаво улыбалась. Она слышала все, и когда мы отошли подальше от амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большою точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно,

и когда дело дошло до колотого сахару, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви, мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку; а вот благородные-то барышни что делают, столбовые-то дворянки? Да ведь все что вы ни видели в амбаре, все это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила! Сахар-то лет двадцать крадет да копит. Поди, чай, у нее и чаю и кофею мешки висят?..» Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрена, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках, она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николаевна узнает об ее глупых речах. «Лукавый меня попутал, – продолжала она, утирая слезы, – за сердце взяло: жалко вас стало! Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели... Ну,

пропала я совсем!» – вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке, но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. «Вот моя умница, – сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу, – она уж ничего не скажет на свою няню». Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал: «ей-богу», в первый раз в моей жизни, хотя часто слышал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довести до божбы, которую мать моя строго осуждала!

Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не скрывать тетушке. Я скрыл только слова Параша. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен, и в

наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она прибьет Матрешу». Слово «прибьет» меня смутило; я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить Матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если бы не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери все, в чем просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко; к тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание: если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того чтоб она не побила Матрешу, то я должен утаить от матери слова Параша, для того чтоб она не услала ее в Старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать.

Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечи пе-

ред образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома; но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье: все удивлялись и спрашивали меня о причине; я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перепонок, необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке – мостом, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, – взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди.

В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолже-

ние всего обеда мать насмеялась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так, только для пробы, спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют». Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине; все

молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтовню и хохот; когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутивы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слышал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша имела чудесный голос и была запевалой. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками, называла «умницей» и «милым барином». Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к Матреше и, похвалив ее прекрасный голос, спросил: «Отчего она никогда не поет в девичьей?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо: «Матушка ваша не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес. Я очень пожалел о том, потому что песни и голос Матрешы заронились мне в душу. Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны и скрылись из виду. Лес

точно ожил: везде начали раздаваться разные веселые восклицания, ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен; песни Матрешки были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос. Евсейич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пядь, ходили по молодому лесу, неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями, – и вдруг закричала: – Ах, я наступила на них!» Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полустгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно

любовался молодыми груздями, говоря мне: «Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их, – они хрупки и ломки. Посмотри: точно пухом снизу-то обросли и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень милостивы и издавали острый запах. Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад, к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать: «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дроги, или роспуски, и еще долее бы их проискали, если б не слышали издали фырканы и храпенья лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки, – последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусанья места на животном, не защищенные волосами. Бедные лошади, искушенные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясе-

ные все свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Форейтор, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побранил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки, с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья Евсеича и Матрены, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности; она любила кушать их жаренные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго, с детской радостью, разбирала грузди, откладывая маленькие к

маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус: она охотница была кушать всмятку несвежие яйца, а грибы любила старые и червивые и, найдя в кузове Матрешы пожелтелые трухлявые грузди, она сейчас же послала их изжарить на сковороде.

Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матрешы и как всем было весело; но я не сказал ни слова о том, что Матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений, точно кто шепнул мне, чтоб я не говорил; но после я задумался и долго думал о своем поступке, сначала с грустью и раскаяньем, а потом успокоился и даже уверял себя, что маменька огорчилась бы словами Матрешы и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту я это предчувствовал.

Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство. Забывая, или, лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену и, не входя в объяснения, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда.

Я давно знал, что мы в начале августа поедem в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтоб мать увидела в полном блеске великолепный семидесятилетний чурасовский сад, заключающий в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю как начали жать рожь, а между тем уже подospel ржаной сев, который там всегда начинался

около 25 июля. Он сам видел, что после де-душки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна! Приезжай посмотреть ее сады, а свое хозяйство брось! На меня, Алеша, не надейся; я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану: больно речист». Все это мой отец понимал очень хорошо, но послушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещания – было невозможно. Отец хотел только оттянуть подальше время отъезда, вместо 1 августа ехать 10-го, основываясь на том, что все лето были дожди и что яблоки поспеют только к Успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что по тяжebному делу с Богдановыми отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск и что Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николаевну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться

в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к Покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровым и со всеми его удовольствиями, с удочкой, с ястребами, которыми только что начинали травить, а всего более – с мохноногими и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Куредов, богатый сосед тетушки Аксиньи Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была радехонька такому зятю, но по молодости невесты (ей было ровно пятнадцать лет) отложили совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью; клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к

ней бегал, чтоб посмотреть – довольно ли корму у моих голубей и есть ли вода в корытце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркованье. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать собиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращения, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены и 2-го августа, после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечение маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же, знакомой читателям, англицкой мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.